

Рассказы

Я родилась в 1916 году в Москве. Мать моя была зубным врачом, отец – без специального образования – был специалистом по лесу. Мамина семья — Либерсон — жила в еврейском местечке Расасно, а папина — тоже Либерсон — в еврейском же местечке Обчуча. И то, и другое — в Белоруссии. Дедушки были родные братья. Почему они оказались в разных местах, не знаю. В обеих семьях было по семь детей. Дедушка Гершон (мамин отец) был нерелигиозным. Но нарушать запреты он не хотел. Например, свинину он не ел. Дед владел мельницей в местечке, то есть считался по тем временам человеком богатым. У него был одноэтажный, но довольно большой дом. Бабушка — ее звали Вихна — умерла до моего рождения. В ее память решили меня назвать Вихной, что в весьма вольном переводе на русский звучало Викторией. С этим семейным решением папа и пошел в синагогу, чтобы записать меня. Но по дороге вспомнилась ему королева Виктория, внешне непрезентабельная и даже немножко противная, и я стала Валентиной. Решающего значения для семьи это не имело, ведь и в том, и в другом случае заглавная буква имени бабушки в моем имени присутствовала. Старший из сыновей в семье — Моисей, несмотря на «светскость» отца, был религиозным человеком. В начале 20-х годов он переехал в Москву. Когда я вышла замуж в 1951 году, он пришел к тетке, у которой мы с мужем остановились, упер палку в пол и недоверчиво оглядев мужа, который был мало похож на еврея, спросил: «Как будет ваша фамилия?» — «Файнштейн». — «Ага». Он был удовлетворен: еврей. Было ему тогда лет 70. На что он с женой жил при советской власти, не знаю. Официальной работы у него не было. Почти все остальные дети — мамыны сестры и братья — Роза, Осип, Эсфирь, Мера — в 20-е годы тоже переехали из местечка в Москву. Драматичной была судьба еще одного брата — Наума. Он — офицер Красной Армии, большевик — стал секретарем пензенского ревкома. В 1920 году в возрасте 21 года он был захвачен белочехами и расстрелян. В Пензе — во всяком случае до конца 70-х годов — одна из центральных улиц носила его имя. Моя тетя Роза была домохозяйкой, вырастила двух сыновей. Сыновья ее — Исаак и Наум Рабиновичи — были весьма незаурядными людьми. Изя во время Великой Отечественной войны был корреспондентом газеты «Красная звезда», потом замзавотдела политинформации. Тесно сотрудничал с Ильей Эренбургом и другими видными публицистами. Много работал, как и было принято, а в 1950 году был изгнан с работы, как тоже было принято во времена борьбы с космополитизмом. Наум стал блестящим хирургом. Тетя Эсфирь получила образование провизора. Ее сын Клим (Клементий) стал профессором в Ленинградском кораблестроительном институте. Умер он в Хайфе в 1998 году. Его сестра Рина живет сейчас в Кармиэле. Ей 83 года. Вместе с матерью она прошла всю войну, работая во фронтовом госпитале. Тетя Эсфирь и тетя Мера (врач) были очень близки с мамой, а их дети — с нами. К сожалению, дочь тети Меры Элла — самый близкий мне человек — осталась в Москве. Она была директором французской элитной школы для детей дипломатов, но в личной жизни ей довелось пережить страшную трагедию: в 1992 году был убит бандитами ее сын. Остался внук Тимоша. Именно он и могила сына удерживают ее в России. Вот такой разброс судеб в одной семье. Другой дедушка — Абель — папин отец — был глубоко религиозным человеком. Целый год он проводил в синагоге. Бабушка — Гита — с двумя дочерьми — Соней и Блюмой — занимались хозяйством. У них была корова, куры, огород и большой фруктовый сад, посаженный моим отцом. Старший их сын Хаим, остроумец и франт, женился на дочери миллионера и вел на Волге большое дело, связанное с лесоматериалами. У него работали и его братья — мой отец Борис и Самуил. Я оказалась в Обчуче, когда мне было три года. В Москве было голодно и меня отправили на поправку. Говорят, что в три года ничего не запоминают, а я хорошо помню и дом, и сад, и синагогу. Позже я нарисовала план дома, и оказалось, что память меня не подвела. Из Обчучи я уехала с умением разговаривать на идиш. Его мне дали игры на улице и разговоры дома. Кстати, семья деда Абы выделялась тем, что единственная в местечке владела разговорным русским. Иначе, я, приехав из Москвы, и общаться бы не могла с ними. Тетя Соня позже приехала к нам в Москву и закончила Московский университет. Мои родители — маму звали Нехам (Нина) — познакомились в Казани. Мама поехала туда учиться, потому что евреям разрешали там жить и даже поступать в высшие учебные заведения. Она поступила в Казанский университет на зубо врачебный факультет (может, это было зубо врачебное отделение медицинского факультета). Отец, который жил и работал в тех краях, для самообразования посещал лекции гуманитарных факультетов. Они — двоюродные брат и сестра — сблизились и в 1910 году поженились. В 1915 году мама, как зубной врач, получила право жительства в Москве, и родители перебрались туда. Отец работал на лесоскладе, а мама открыла зубо врачебный кабинет. Все было хорошо. Одно их огорчало: не было детей. Пока не появилась я. Родители снимали квартиру вместе с семьей маминой ближайшей подруги Бочавер, и я росла вместе с их младшими детьми. После революции в 1918 году старших Бочаверов красные выслали в Муром.

Младшую их девочку Риву, которая была на восемь лет старше меня, родители оставили у нас. Мы с ней очень дружили, называли друг друга сестрами. Сестрами по сути мы и оставались до конца ее жизни. Я многое помню из своего детства. Хорошо помню знакомство с Айседорой Дункан. Приехав в Москву, великая танцовщица открыла школу танца. Меня повели на просмотр, и я была принята. Облик Дункан поразил меня: босая, бесформенный хитон до пят. Лицо не запомнилось. К сожалению, в школе ее я не занималась. Выяснилось, что это не школа, а интернат, и меня — долгожданного ребенка — в интернат не отдали. В 20-е годы к нам в Москву съехалось много родственников, стало тесно. Когда начался НЭП (новая экономическая политика), стало возможным купить квартиру, дом, открыть дело и т.п. Родители купили пятикомнатную квартиру, с которой у меня связано еще одно яркое детское воспоминание. Дело в том, что рядом с домом, куда мы переехали, было здание реввоенсовета (теперь бы сказали, Министерства обороны; кстати, там и сейчас Министерство обороны). Каждый день в 11 утра вся детвора нашего дома высыпала на улицу. Потому что каждый день в это время подъезжала открытая машина. ведь в те годы транспорта, кроме извозчиков, не было. А тут — машина! И в ней — один и тот же человек, с шевелюрой, в рыжей потертой кожаной куртке. Сам Лев Давидович Троцкий. Сейчас я поражаюсь другому: никаких ни охраны, ни сопровождения не было. В гражданскую войну в 1918 или 1919 году мама была мобилизована. К счастью, это выражалось только в том, что ее обязали вести бесплатный прием красноармейцев. Начиная с 1922 года нас начали уплотнять. У нас забрали четыре комнаты из пяти. К тому же, нас оставили в спальне, выход из которой был через ванную. Если кто-то мылся, выйти было нельзя. Слава Богу, это было недолго. В 1924 году мы переехали в Ленинград. Папа стал совслужащим (работал в концессии «Мологалес»), у мамы некоторое время был кабинет, а потом она начала работать в поликлинике. В те годы в России немецкий язык был более популярным, чем английский. Еще в Москве ко мне и сыну наших друзей приходила на три часа в день, гуляла с нами и разговаривала немка Эрнестина Генриховна. После переезда в Ленинград меня решили отдать в одну из трех немецких школ. Считалось, что там дают лучшее образование. Чтобы подготовить меня к экзамену, вновь взяли учительницу. Звали ее Мария Михайловна. Дочь секретаря Евреинова, она при царской власти была фрейлиной императрицы. Какая она была благожелательная, веселая! Легкий, чудесный человек. Думаю, что именно оптимизм помогал ей приспособиться к новой власти, новой жизни. В 1925 году я поступила во второй класс немецкой школы «Петершуле». Учились мы на немецком языке. Преподаватели были, как я теперь понимаю, очень профессиональные. В 1926 году был у нас в школе вечер, и в клубе устроили тир со стрельбой. В зале, как во всех школах, висели портреты вождей. По ним мальчики стреляли. Завхоз — коммунист Печатников — устроил большой скандал, а герр Клейнберг — директор, который жил в здании школы, — недоумевал: «Что страшного? Мы купим новые портреты». В 1927 году немецкую школу закрыли. Она стала «русской», полностью советской. А класс, как был, так и оставался в основном еврейским. Разве что появились два новых мальчика, русских. А вместе с ними и надпись на стене «Бей жидов! Спасай Россию!» К ней еврейский мальчик приписал: «Всех жидов не перебьешь и Россию не спасешь». Появились и «русские» учителя. Среди них — Александра Львовна Бронштейн, учительница обществоведения, первая жена Троцкого. Учитель она была никакой, про нее в живгазете — представлении на злобу дня — мы дали стишок: «Ее мужем был не какой-нибудь Бродский-Шмоцкий, а сам Лейб Давидович Троцкий». В нашей школе какое-то свободомыслие тогда еще допускалось. В 1928 году школа перешла на обучение по методу «Дальтон-план». Это был бригадный метод обучения. В классе создавались бригады — группы по пять — шесть человек. Учителя сидели в кабинетах. Мы обращались к ним, они давали задания и, если нужно, консультации. Экзамен по предмету сдавал один человек от группы. У меня была тяга к точным наукам. Поэтому, со мной в группе старались быть гуманитарии. В том числе — Наташа Лозинская (мать писательницы Татьяны Толстой) и Ольга Богаевская (дочь известного художника и в будущем сама художник). К счастью, обучение по «Дальтон-плану» продолжалось всего год. В пятом классе у нас была неделя педологии. На основании тестирования определяли способности учеников и давали рекомендации, куда пойти учиться или работать. Один из учеников нашего класса — Абрам Гуревич, сын сапожника — после тестирования получил заключение: гений. Он потом учился на физмате. А о его дальнейшей судьбе я ничего не знаю. Определение «гений» мне, конечно, не светило, но, похвастаясь, по тестам я была на втором месте. Да, пропустила одно событие. У нас в школе организовали пионерскую базу. Я стала очень активной пионеркой, была вожатой санотряда, ездила в пионерский лагерь. Продолжала я приезжать туда в выходные и позже, когда уже училась на рабфаке. Там был прекрасный вожатый — Саша Зерницкий. И, конечно, я хотела стать комсомолкой, как он. К тому времени, когда я училась на рабфаке, он стал секретарем райкома комсомола нашего Смольнинского района. Каждому вступающему в комсомол нужны были две рекомендации. Одну из них я получила от Саши. Но не успела подать документы, как Саша пропал: его арестовали. На меня это произвело жуткое впечатление, к которому примешивался страх. Я стала задумываться: «Если нашего

Сашу арестовали, то что же происходит?» В комсомол я не вступила. Но вернусь в школьные годы. В 1931 году я закончила седьмой класс. И тут ликвидировали восьмые-девятые классы. Можно было поступать в техникум или ФЗУ (фабрично-заводское обучение). Меня не приняли ни туда, ни сюда: мне не было 16 лет. Но осенью, в трех школах, в том числе, в моей, организовали восьмые классы. Я пошла туда, но учиться в школе уже не хотелось. Надо профессию получать — это по-советски. В результате, несмотря на юный возраст, меня устроили на рабфак — четырехгодичный курс обучения рабочих с возможностью получения после этого высшего образования. Всем учащимся было по 22-24 года, мне — 16. Когда я пришла, я попала на беседу к завучу. Он, как потом оказалось, был хороший преподаватель-математик. Он должен был меня определить на какой-то курс. Видимо, я — малолетка — не произвела на него впечатления мало-мальски знающего человека. Он спросил меня: «Квадратные уравнения знаете?», «Проходила», — в страхе ответила я. «А тригонометрию?» — «Проходила». «Это не прошло все мимо вас?» — довольно безнадежно осведомился он. Мнение завуча обо мне изменилось после письменной работы по математике. Он давал десять задач и при правильном их решении ставил 100 баллов. Изумление его было велико, когда я с этим без труда справилась. Он стал относиться ко мне всерьез. Успешная сдача экзаменов на рабфаке означала прием в институт, и в 1934 году я стала студенткой института киноинженеров. Надо сказать, что антисемитизма в те времена я не чувствовала. Да и сама никогда не интересовалась национальностью окружающих. Было ощущение полного равенства. Учиться мне было легко. Жизнь была наполненной и интересной. Мы ходили на вечера, лекции, выступления артистов и поэтов. Очень запомнился вечер поэта Михаила Светлова. На каждый вопрос он отвечал остроумной шуткой. Я, как и прежде, была очень активной. Как культорг института организовала джаз и школу западных танцев: танго, медленный и быстрый фокстрот, бостон и классический вальс. Но было, увы, не только это. Была середина 30-х годов. Убийство Кирова. Процессы. Дома никогда об этом не говорили. Но, возвращаясь домой ночью после театра или вечеров, я не раз видела, как папа вскакивал с кровати каждый раз, когда недалеко от дома тормозила машина. Я ничего не говорила, но в душе раздражалась: «Чего ты боишься? Ты ведь ничего не сделал плохого». Я виновата перед отцом. Я все еще не понимала, что арестовать и посадить могли каждого. Дома у нас праздновались дни рождения, Рош-а-шана и Песах. Приходили родственники. В детстве, я помню, мы сами делали мацу. Мама раскатывала тесто, а я шестеренкой проходила по нему, делая дырочки. Потом в Ленинграде можно было купить мацу. На Пурим мама пекла хоменташ (уши Амана) с маком. В 1939 году я закончила институт и по распределению получила направление на должность главного инженера Управления кинофикации города Ярославля. Выпускница, без опыта, 23 года, я понимала, что не справлюсь. Хорошо, что позаботились товарищи из института, и назначение изменили. Когда пришла путевка, в ней значился Ленинградский завод киноаппаратуры — КИНАП. Там я и начала работать конструктором в отделе звукозаписывающей аппаратуры. Половина конструкторского бюро были евреи. Начальник — армянин Арам Матвеевич Мелик-Степанян, заместитель — еврей Михаил Айзикович Дудник (мы его звали для краткости Михайзик). Они были крупнейшими специалистами. Кстати, отношения с начальством, если смотреть из сегодняшнего дня, были не совсем обычными. Например, вызвали меня — молодого спеца — в цех. Дудник, который оказался рядом, видимо, посчитал, что объясняю я недостаточно авторитетно. Он вмешался и повторил то же, но авторитетным голосом. Вне себя от возмущения — унизили мое достоинство — я пошла жаловаться к начальнику. При Михайзике, конечно. Только закончив обличительную речь, я увидела, что он сам давится от смеха. Но он быстро справился с собой и сказал: «Я был не прав. Этого больше не повторится». Кстати, именно Михаил Айзикович сделал очень много добра для меня в будущем. Наступил страшный 1941 год. Война. Очень быстро фронт приближался к Ленинграду. Родители после долгих споров эвакуировались в Мордовию, в Саранск: маме нужно было сопровождать туда больную. Я осталась. Наш КИНАП стал изготавливать военную продукцию: редукторы для пикирующих бомбардировщиков. Главным инженером производства назначили Дудника, который был не только талантливый инженер, но и потрясающий организатор. Я ведала инструментами и приспособлениями для цеха. Молодые мужчины все ушли на фронт. Уже в 1941 году разбомбили Бадаевские продовольственные склады — основные склады Ленинграда, и стало быстро ухудшаться снабжение продуктами. Началась блокада. Жили мы, по сути, на заводе, где каждому работнику дали койку. Работал завод круглосуточно. Домой я ходила разве только переодеться. Добиралась пешком часа полтора. Потом это превратилось в два — два с половиной часа, я становилась все слабее. На заводе давали еду раз в день: жиденький суп-затируху. По рабочей карточке получали 250 г хлеба в день. У каждого выжившего в блокаду свои воспоминания о ней. Я именно во время блокады впервые столкнулась с откровенным бытовым антисемитизмом. Это было так. Во время тревоги жильцы нашего дома выбегали в подворотню (бомбоубежища не было). Народу много. И вдруг истерический вопль: «А, опять скрываешь жидовское отродье!» Это относилось к нашей дворничихе, которая помогала моим соседям-евреям с маленьким

ребенком. Другое воспоминание. Зима, Нева замерзла, и я спускаюсь к ней, сокращая путь. Вдали упал человек. Это было уже привычно: падали, замерзали, умирали. Двое склонились над ним, вроде хотели помочь, отошли, видимо, увидели, что умер. Вскоре я прошла мимо упавшего. То, что я увидела, до смерти не забуду, нельзя забыть. Из него были вырезаны куски мяса, а кровь застыла на морозе. В феврале 1942 года завод встал, и я вернулась в свою комнату. Лютая зима, а в доме — как на улице, жить нельзя. И тут приходит мой семнадцатилетний двоюродный брат Клим и зовет жить с ним и дядей. У них была «буржуйка» (печка), сравнительно тепло. У нас на троих было 500 г хлеба на день. Мы его резали, сушили сухарики. Варили студень из столярного клея. Стало хуже, когда он кончился. Однажды у меня вырвали нашу дневную порцию хлеба, но у человека не было сил убежать, так что хлеб я вернула. Эвакуировалась я 15 марта 1942 года по Дороге жизни, через Ладогу. На другой день нас посадили в теплушки. Уехать удалось с помощью денег: сосед распродал все вещи из моей комнаты и тем спас и меня, и свое семейство. Мы ехали около десяти суток с бесконечными остановками. Нас — блокадников — кормили на станциях обедом и давали буханку хлеба на сутки с предупреждением: не съедайте хлеб сразу. Но не все могли удержаться, и каждый день выносили трупы. На станции в Рязани я вышла. Отсюда было сравнительно недалеко до Саранска. В Рязани я впервые взвесилась с начала блокады. Вместе с пальто — 29 кг (рост 158 см). Я села в поезд в сторону Саранска — в вагоне было еще свободно — и заснула. Когда я проснулась, людей было полно, и вокруг зашептались: «Проснулась, проснулась...» Мне стали совать кто белую булку, кто даже кусочек шоколада. Кто-то сбегал на станции за самогонкой, которую пить я, конечно, не могла. Я поняла, что о блокадниках (а на мне это было написано) уже знали и сочувствовали им. Наконец — встреча с родителями! Мама первым делом повела меня в баню и расплакалась. «Паучок-паучок, тоненькие ножки...» Действительно, со своим громадным распухшим животом и тоненькими ножками я была похожа на паучка. В мае 1942 года я пошла работать на консервный завод конструктором. И там меня тоже старались подкормить: блокадница. А через несколько месяцев М.А. Дудник, которого перевели в Москву и назначили начальником Техуправления Комитета по кинематографии, вызвал меня в Москву. Так, в июне 1943 года я оказалась в столице. Упросили меня работать на Мосфильме, и я конструировала приспособление для комбинированных съемок. Но вот прорвали блокаду Ленинграда и, казалось, можно было возвращаться домой. Но это было не так-то просто. Нужен был вызов из ленинградского горисполкома (муниципалитет), а его председатель Попков, по рассказам, еврейские дела клал под сукно, мол, эти сами прорвутся. Тогда меня от Мосфильма послали в командировку на КИНАП — с тем, чтобы я прорвалась, то есть постаралась остаться. Я и осталась. Правда, работы по специальности было не так много. Зато вовсю использовали на подсобных. То мы скалывали лед с железнодорожных путей, то нас посылали на лесозаготовки. На заводе шутили, что в списках мобилизованных на физработы первыми всегда оказывались конструктор Либерсон и библиотекарь Гринсон. Жила я на заводе, в комнате с еще одной женщиной — управделами завода. Квартира наша была занята полковником медслужбы, который написал нам еще в Саранск трогательное письмо с описанием своего дома, который разбомбили у него на глазах. Он попросил нас дать согласие на его вселение в нашу квартиру. Конечно, мы дали. А уже потом с нашей квартирой была просто детективная история. Мне посоветовали пойти и убедиться самой, что квартира полковника уничтожена. К моему удивлению, дом его стоял целехонький, а пожилая женщина, которая открыла мне дверь в его квартире, сказала: «Нас Бог миловал, даже стекла не вылетели». Полковник же при встрече, когда я выразила возмущение его ложью и лицемерием и потребовала освободить наше жилье, небрежно бросил: «Детские претензии». Тогда я стала собирать документы для предъявления «взрослых претензий». Это было нелегко, но, наконец, с этими документами в единственном экземпляре (копировальных аппаратов тогда еще не было) я двинулась в суд. Документы в сумочке, это моя ценность. А сумочку в трамвае вырывают воры. Но воры оказались благороднее полковника. Конверт с документами через почту они мне вернули. Тем временем родители получили вызов, но не в Ленинград, а на 101-й километр, то есть они могли поселиться не ближе, чем на таком расстоянии от города. Снова помог КИНАП, и я перевела родителей, хоть и с приключениями, все же в Ленинград. Поселились они со мной. Мама — даже в одной со мной постели, а папа — в комнате с рабочими. Наступил День Победы. Меру нашей радости передать невозможно. В июне 1945 года у нас была и своя семейная победа: по решению суда нам вернули квартиру. Однако и потом трудностей хватало. Родителям несмотря на пенсионный возраст — 65 лет — пришлось идти на работу. Моей зарплаты на троих не хватало. Нельзя не сказать о том, что с конца войны мы все острее чувствовали усиление антисемитизма. Вот только несколько примеров. В конце войны вызывает меня на проходную мой однокурсник по институту и спрашивает, нельзя ли устроиться у нас на работу. «Меня нигде не берут», — говорит он шепотом и добавляет: «Я — еврей». Ни он, ни я не знали о национальности друг друга, в годы, когда мы учились, никого это не интересовали. А в 1949 году я все прочувствовала на себе. Дело в том, что в 1949 году наша разработка, связанная с кинематографией, была

выдвинута на Сталинскую премию. Я в той разработке была ведущим конструктором, но из списка, получавших премию, оказалась вычеркнутой. В конце 1949 года у нас начал работать, закончив институт киноинженеров, молодой человек Арон Файнштейн. Высокий, светловолосый и весьма привлекательный. На шесть лет младше меня. Я ведь была уже «зубр», а он только начинающий. Правда, через два года он, который и в институте был сталинским стипендиатом (то есть круглым отличником), стал начальником лаборатории. Быстро вырос. В 1951 году мы поженились. Сначала сделали хupu в знак уважения к отцу Арона, который был очень религиозным человеком. Как сейчас помню четыре палки с натянутой на них, видимо, простыней, и раввина, который на тетрадных листочках заполняет еврейскими буквами ктубу. Мы сохранили ее и поразили ею израильскую служащую из Министерства внутренних дел. Прodelали эту церемонию в доме у Арона, который тоже жил в коммунальной квартире с соседями, в отдаленной комнате, стараясь, чтобы никто из них ничего не услышал. 17 сентября мы поехали в свадебное путешествие в Новый Афон (Абхазия), а, вернувшись, поселились с моими родителями. У родителей были две комнаты, хорошо, что обе не проходные. Кроме родителей, у нас в коммуналке было еще четыре семьи (десять человек). Кухня — одна на всех. В августе 1952 года у нас родился сын Борис. Опять же очень тихо сделали брит-милу, для отца Арона это было очень важно. А в конце 1952 года над нашей семьей разразилась гроза. При монтаже в московском Дворце съездов установки, сконструированной в лаборатории Арона, в ней обнаружили производственный брак. И, хотя это был брак, допущенный на производстве, сняли с работы мужа. Когда начальник нашего производства увидел Арона у меня в бюро, он отреагировал весьма недвусмысленно: «Что делает здесь этот агент Джойнта?» Тогда же у нас уволили начальника планового отдела и главного конструктора — тоже евреев. На работу их никуда не брали. Страшное было время, но, слава Богу, умер Сталин, и стало легче дышать. Кстати, все эти годы и последующие тоже, как и раньше, мы продолжали отмечать еврейские праздники. Несмотря на то, что у меня была очень близкая подруга русская, компания у нас была еврейская — десять человек. Мы ходили в театры, в Дом кино, куда у нас были пропуска. На закрытых просмотрах смотрели фильмы, которые в кинопрокат не допускали по идеологическим соображениям. Там бывали очень интересные встречи. Попадали мы по благу и на великолепные капустники в Дом искусств. Летом арендовали дачу под Ленинградом. В 1974 году я ушла на пенсию, проработав практически всю жизнь на одном месте. С тех пор моя жизнь определялась судьбой сына. В 1979 году Борис женился, в следующем году родилась внучка Нина, а в 1987 году — внук Миша. В 1991 году сын с семьей переехал в Израиль. Мы с Ароном остались, не желая быть им обузой в устройстве на новом месте. Правда, разлуку с ними мы выдержали только один год, и в марте 1992 года мы «поднялись» в Иерусалим. Слава Богу, сын с семьей благополучны. У старших хорошая работа. Ниночка после службы в армии поступила в Иерусалимский университет, уже получила звание бакалавра, а в этом 2006 году, надеемся, получит степень магистра. Миша успешно закончил школу и, сдав экзамен, служит в элитной, технической части ЦАХАЛа. Нам с Ароном кажется, что они довольны. А это значит, что довольны и мы.